

КОММУНИКАТИВНЫЕ  СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ

А. И. КУЛЯПИН, О. А. СКУБАЧ

МИФОЛОГИЯ
СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Ответственный редактор
И. В. Силантьев



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2013

УДК 80/81
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
К 21

*Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт филологии
Издание подготовлено в рамках Интеграционного проекта СО РАН — УрО РАН
№ 53 «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования»*

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор СФУ *К. В. Анисимов*
доктор исторических наук, профессор АлтГУ *Ю. М. Гончаров*
доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена *О. М. Гончарова*

Редакционный совет серии:

М. М. Гиришман (Донецкий ун-т, Украина), *М. Н. Дарвин* (РГГУ, Москва),
И. В. Силантьев (председатель, Ин-т филологии СО РАН, Новосибирск),
Ю. Л. Троицкий (РГГУ, Москва), *В. И. Тюпа* (РГГУ, Москва),
Ю. В. Шатин (Новосибирский гос. ун-т), *В. Шмид* (Гамбургский ун-т)

Куляпин А. И., Скубач О. А.

К 21 **Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи:** монография / Отв. ред. И. В. Силантьев. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 240 с. — (Коммуникативные стратегии культуры).

ISBN 978-5-9551-0601-4

Главная задача книги — изобразить советское прошлое не в привычном ракурсе истории фактов, но как историю представлений, убеждений и заблуждений среднестатистического «homo soveticus», обитателя мира сталинской утопии. Опираясь на материал литературы, кино, живописи, искусства плаката, а также на мемуары и публицистику сталинской поры, авторы исследуют специфически советское восприятие таких существенных аспектов человеческого бытия, как национально-культурное пространство, время и история, сон, телесность, еда, похоронный ритуал, транспорт, средства связи, феномен подарка и ритуал дарения, популярные формы досуга и др. Издание предназначено для филологов, историков, представителей других гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся отечественной культурой XX века.

ББК 83.3

*В оформлении переплета использована
картина Серафимы Рянгиной «Все выше» (1934)*

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0601-4

© Издательство «Языки славянской культуры», 2013
© Куляпин А. И., Скубач О. А., 2013
© Институт филологии СО РАН, 2013

Содержание

Вместо введения. Железный век	7
-------------------------------------	---

I. СОВЕТСКИЙ КОСМОС

Глава первая. Москва моя — страна моя	15
Глава вторая. Игры со временем	29
Глава третья. Куда течет река Волга: волжская мифология и чувство истории в советском искусстве 1920—1930-х гг.	39
Глава четвертая. Символика средств связи	47
Глава пятая. Локомотивы революции	61

II. НОМО NOVUS

Глава шестая. Человеческий материал	71
Глава седьмая. Тело как текст, или Body-art тоталитаризма	82
Глава восьмая. Новое в физиологии мозга	96
Глава девятая. Верный Брут: собаки в отечественной культуре первой половины XX века	102
Глава десятая. Пища богов и кроликов	111
Глава одиннадцатая. Сноблезнь, снобязнь и культ бодрствования	128
Глава двенадцатая. Семиотика красных похорон	141

III. МИР СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Глава тринадцатая. Азбука социализма: учебники русского языка 1920—1930-х гг.	155
---	-----

Глава четырнадцатая. Уроки лжи:	
математика в советской школе	164
Глава пятнадцатая. Собиратели хаоса:	
коллекционирование по-советски	172
Глава шестнадцатая. О сухих вратарях	
с подмоченной репутацией	185
Глава семнадцатая. Шахматы в СССР	193
Глава восемнадцатая. Дары данайцев	208
Глава девятнадцатая. Вещи и знаки в советском мире	217
Вместо заключения. Последние наблюдения	225
Литература	229

Вместо введения

Железный век

«Век девятнадцатый, железный, / Воистину жестокий век!» — писал А. Блок в поэме «Возмездие» [Блок 1960: 304]. С точки зрения нашего современника эта формула применительно к сравнительно гуманному XIX веку выглядит почти наивно. Зато она точно характеризует атмосферу первых послереволюционных десятилетий XX века. Гуманитарии сейчас все охотнее пользуются культурологической метафорой, согласно которой «золотой век» русской культуры сменяется сначала «серебряным», а потом — «бронзовым» и «железным». Эта схема, конечно, отнюдь не безгрешна в научном отношении, по существу, она — не что иное, как часть нового квазиисторического мифа. Заметим все же, что определение «железный» передает дух сталинского периода гораздо адекватнее, чем «золотой» — сущность пушкинской эпохи или «серебряный» — блоковской.

В середине 80-х гг. прошлого века Б. Гройс заметил: «...искусство сталинского периода сейчас официально табуировано в Советском Союзе не меньше, чем искусство авангарда» [Гройс 2003: 24]. После крушения советской империи авангардное искусство было в сжатые сроки легализовано. Культура же сталинизма еще долго оставалась под негласным запретом. Посттоталитарное общество стремилось вытеснить травмирующий опыт из своей культурной памяти.

Сегодня внимание к эпохе Сталина носит по преимуществу односторонний характер. Стабильно высокий интерес к историческим и политическим аспектам этого периода компенсируется продолжающейся маргинализацией сталинского искусства, и прежде всего — литературы. Вряд ли можно сейчас всерьез рассчитывать на переиздание авторов-соцреалистов, тем более — второго или третьего «эшелона». Между тем именно они отражают подчас те нюансы советской действительности, мимо которых сознательно прошли признанные классики первой половины XX века. Показательным коммерческим неуспехом завершился замечательный проект издательства «AdMarginem», в 2003—2005 гг. попытавшегося в серии «Атлантида» вернуть из не-

бытия ряд любопытных произведений приключенческого жанра, созданных советскими писателями в 1940—1960-х гг.

Для читателя и зрителя начала XXI века художественная ценность произведений социалистического реализма неочевидна. Оставаясь в кругу привычных категорий, советскую литературу, живопись и кинематограф невозможно понять и воспринять адекватно. Именно поэтому существующий интерес к эпохе сталинизма — весомый повод для выработки свежих исследовательских методологий, способных с новой стороны открыть искусство и культуру 1920—1950-х гг. Пожалуй, наиболее востребованным и перспективным сегодня является семиотический подход. Одна из причин такой популярности заключается, конечно, в весьма актуальном для современных гуманитариев междисциплинарном пафосе семиотических исследований. Авторы данной работы на фундаменте семиотики культуры постарались соединить литературоведческий (по преимуществу) материал с существующими наработками в области отечественной истории.

Антиисторизм структуралистов и квазиисторизм постмодернистов постепенно уходит в прошлое. Внимание современных гуманитарных наук к диахронии выдвинуло в центр нынешних ученых споров «новый историзм» (new historicism). По замечанию И. П. Смирнова, «первостепенное место в его самопонимании занимает убежденность в том, что исторический дискурс в силах отвечать реальности прошлого, т. к. она сшита из текстов (по нашумевшей максиме Монтроуза, “текст историчен — история текстуальна”）」 [Смирнов 2004: 308]. Следует особо подчеркнуть, что логика развития этого научного направления ведет к универсализации литературоведения. Сторонники данной концепции, к числу которых причисляют себя и авторы настоящей монографии, «занимаются историей разных дискурсов, безоговорочно предпочитая при этом литературу или олитературивая таковые. Литература впитывает в себя содержание религиозных, философских, научных, политических и иных текстов, что естественным образом дарует ей привилегию {...）」 [Там же: 312].

Литература советского периода очень специфична. Она, конечно, зеркало русской революции, вот только зеркало это обладает очень сильным искажающим (или преображающим?) эффектом. Вычислив коэффициент преломления действительности в магическом кристалле социалистического реализма, можно реконструировать и понять идеологические мифы, определявшие не только общественную, но и обыденную жизнь советского человека.

В свое время Ю. М. Лотман и Е. А. Погосян предложили описать историю быта «как последовательное введение ритуальных неудобств — от костюма, прически, интерьера, обеденного прибора до манеры отпускать длинные ногти: вплоть до начала XX века быт стремится к неудобству, после чего обращается к подчеркнутому удобству, обретая при этом все менее ритуальные формы» [Лотман 1996: 20]. В границах советского периода отечественной истории процесс бытового упрощения протекал не так просто и однолинейно. Можно вспомнить реакцию Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца» (1925) на попытки приучить его к элементарным правилам обеденного этикета: «Вот все у нас как на параде, — заговорил он, — салфетку туда, галстук — сюда, да “извините”, да “пожалуйста”, “мерси”, а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете себя, как при царском режиме» [Булгаков 1989—1990, 2: 182]. Демонстрируемое «новым человеком» стремление к естественности — на самом деле фальшивка, обман: Шариков как раз во всех отношениях противоестественен. На фоне его «натуральных» повадок чинный и парадный уклад дома Преображенского выглядит квинтэссенцией естества. Неприятие героем чрезмерной (с его точки зрения) регламентации профессорского быта, традиционных форм повседневного поведения — это всего лишь часть нового, куда более неудобного и нелепого, порожденного революцией ритуала. Конечно, Булгаков — писатель пристрастный, однако можно найти множество других примеров подобного рода. Вероятно, формула тартуских ученых нуждается в уточнении: по количеству бытовых неудобств советский период превосходит большинство исторических эпох, и многие из этих неудобств носят именно ритуальный характер.

Бытовое поведение с позиции семиотики разделяется на рутинное и знаковое.

Область рутинного поведения отличается тем, что индивид не выбирает его себе, а получает от общества, эпохи или своей психофизиологической конституции как нечто, не имеющее альтернативы. Знаковое поведение — всегда результат выбора и, следовательно, включает свободную активность субъекта поведения, выбор им языка своего отношения к обществу [Лотман 1992: 34].

Большевистская власть сняла с граждан нового мира тяжелое бремя свободы выбора. Поведение советского человека почти всегда рутинно, вынужденно, но при этом воспринимается оно самим субъектом как свободное, *знаковое*. К примеру, неизбежное убожество одеяний, порожденное всеобщим обнищанием 1920—1930-х гг., преподносит-

ся как преднамеренное. Сначала одежда была тем «явным признаком, по которому новые “хозяева жизни” определяли принадлежность незнакомого человека к “эксплуататорам”» [Жирицкая 2003: 225]. Позже, в 1930-е гг., вспоминает С. Тхоржевский, «провозглашение всеобщего равенства власти пытались подчеркнуть равенством внешним». «Советскому гражданину надо было выглядеть бедным, стремление лучше одеться считалось буржуазным предрассудком» [Тхоржевский 2004: 206]. Посетивший страну в 1930-х гг. А. Жид пытался выявить, и небезосновательно, изоморфизм между внешним обликом и внутренней сущностью советского человека.

Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах, — словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды. Я, может быть, преувеличиваю, но не слишком. В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было увидеть [Жид 1990: 72].

Эта книга лишена критического пафоса — его нет ни в отношении авторов к рассматриваемой эпохе, ни к собственно феномену сталинизма. Невозможно понять культуру, находясь за пределами действия ее основополагающих представлений и иллюзий; погрузившись же в них, исследователь неизбежно теряет способность судить и осуждать. Мы лишь постарались показать, как культура 1920—1950-х гг. видит и воспринимает самое себя — или как она хочет себя видеть и воспринимать. Другими словами, цель настоящей работы заключается в том, чтобы выявить и описать важнейшие мифы (конечно, в бартовском смысле этого слова), порожденные культурной средой и составлявшие основу ментальности среднестатистического советского человека — современника сталинской эпохи.

Первый из разделов этой книги — о советской «космологии»: авторы попытались реконструировать типичное для периода 1920—1950-х гг. восприятие национально-культурного пространства, времени и истории; также здесь рассматриваются связанные с этими аспектами феномены транспорта и средств связи.

Во втором разделе мы постарались максимально полно показать метаморфозу, которую претерпевает в сталинской культуре представление о человеке/человеческом. Метафорика внутреннего мира, символика телесных деформаций, научные эксперименты в области физиологии человеческого мозга, семантика важнейших человеческих отправления и связанных с ними ритуалов (еда, сон, смерть и похоро-

ны) составили содержание этого раздела. Сюда же попала и глава о собаках: в советском искусстве 1920—1950-х гг. собака приобрела, если можно так выразиться, отчетливо-человеческое «лицо», превратилась в alter ego человека. Разумеется, подобное отождествление — отнюдь не случайность.

Третий раздел посвящен тем аспектам внутрикультурной среды обитания, которые наполняли и конструировали повседневную жизнь гражданина страны победившего социализма. Этот раздел, конечно, эклектичен, — как эклектичен и неоднороден кругозор любого человека. Хобби, спорт, школьные учебники, феномен дарения и, уже на уровне фундаментальных установок культуры, противоречивая динамика взаимодействия знака и вещи — этот список маркеров советского быта и бытия, разумеется, не может претендовать на полноту. Создать всеобъемлющий тезаурус любой культуры — задача, видимо, в принципе невыполнимая. Мы все же надеемся, что читатель получит некоторое представление о том, что составляло содержание специфического мирообраза человека, жившего в нашей стране в первой половине XX века.

Исторический опыт минувшего столетия оказался очень горьким. На излете XX века А. Кушнер смиренно констатировал: «Времена не выбирают, / В них живут и умирают». Впрочем, выбирать времена незачем; с высоты 1978 г. видно то, чего еще не было заметно Блоку: «Что ни век, то век железный». Так хочется верить, что поэт ошибся и наш железный век — позади.

* * *

Мы признательны всем, кто на разных этапах нашей работы принял участие в ее обсуждении. Сердечно благодарим за помощь, ценные советы и замечания Л. М. Геллера, О. М. Гончарову, В. А. Губайловского, С. А. Манскова, Е. К. Ромодановскую, И. П. Смирнова, Ю. В. Шагина, Genevieve Perret. Особое спасибо — И. В. Силантьеву, без необъяснимо стойкого интереса и горячего участия которого эта книга вряд ли бы состоялась.

I. СОВЕТСКИЙ КОСМОС

Глава первая

Москва моя — страна моя

Начинается земля,
как известно, от Кремля.
В. Маяковский

Утрата Петербургом столичного статуса была закономерным и почти неизбежным следствием Октябрьской революции. Радикальные социальные преобразования, как правило, в первую очередь находят свое выражение в переоформлении социально-политического пространства. Период военного коммунизма (1917—1921 гг.), последовавший за переворотом, — это время, когда страна активно искала новую столицу. На роль топоса Власти практически одновременно претендовали Самара, Архангельск, Омск, Новочеркасск, Киев, Симферополь... Дело даже не в перемещении правительств, но в симптоматичных для эпохи центробежных тенденциях, выразившихся, например, в оттоке интеллектуальной элиты из бывших центров на периферию. По наблюдению В. Паперного, в культуре 1920-х гг. «ценности периферии становятся выше ценностей центра. И сознание людей, и сами эти люди устремляются в горизонтальном направлении от центра» [Паперный 1996: 20].

И. П. Смирнов назвал послереволюционные годы «эпохой борьбы между столицей и окраинами за главенство».

Эта война, — пишет исследователь, — началась в советской России. Люмпен-пролетариат попер с городских границ в буржуазные кварталы, превращая их в коммунальные; анархисты, не справившиеся в 1918 г. с властью в Москве, насадили ее в Гуляй-Поле. Названные десятилетия повторили XVII век, когда порубежная Русь двинулась походом на Москву, затеяв Смуту... [Смирнов 2003: 216].

Аналогия между «бунташным» XVII веком и послеоктябрьской смутой была замечена еще Б. Пильняком в 1921 г.

Побежали на Дон, на Яик, — а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь — дошли до Москвы, власть свою взяли, государство строить

свое начали, — выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу [Пильняк 1994, 1: 55], —

говорит один из героев романа «Голый год», архиепископ Сильвестр. Любопытно отметить, что очень похожую сентенцию произносит в романе совсем далекий от взглядов Сильвестра персонаж — Донат: «Петербург-с это вроде лишая-с. Сменю думать, народ сам лучше проживет без опеки ⟨...⟩. У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь» [Там же: 80]. Примечательное единодушие совершенно разных героев в их рассуждениях о политической географии выдает, конечно, и авторскую точку зрения, и одновременно свидетельствует о популярности в начале 1920-х гг. идеи войны Провинции со Столицей.

Следующий этап этой вечной борьбы приходится на годы НЭПа, когда целая волна молодых честолюбцев устремляется в Москву. Е. Петров вспоминает события 1923 г.: «В Москву понаехало множество провинциальных молодых людей для того, чтобы *завоевать* великий город» [Ильф, Петров 1961, 5: 508]*. Провинция, во что бы то ни стало стремившаяся покорить в этот период древнюю столицу, тем самым, по сути, и возвратила ей в глазах современников статус главного города страны. Один лишь переезд правительства в 1918 г. сделать этого был не в состоянии, тем более что и преподносился как мера временная.

В 1922 г. прибывает в Москву герой романа И. Эренбурга «Рвач» (1925). С Курского вокзала Михаил Лыков шагает на Остоженку: «Это было триумфальным шествием. Проходя мимо Красных ворот, он принял их за соответствующую арку» [Эренбург 1962—1967, 2: 140]. Автор щедро уснащает милитаристской лексикой изображение судьбы своего героя. Москва в восприятии Лыкова — «древний город, который ему предстояло *завоевать*» [Там же: 149]. В романе подчеркивается типичность для периода начала НЭПа подобной биографии:

Путь с Каланчевской площади к Арбату, к Пречистенке или к Замоскворечью, — сколько юношей в эти годы, волнуясь, проделали его, предвидя жестокую борьбу и победу! ⟨...⟩ Таким образом, путь Михаила, казавшийся ему прокладываемой в девственных джунглях тропью, был достаточно проторенным [Там же: 149—150].

Ощущения завоевателя, вступающего в поверженный город, достоверно переданы также и А. Малышкиным в романе «Люди из захолустья» (1937—1938). Николай Соустин, демобилизованный крас-

* Курсив здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, наш. — А. К., О. С.

ный командир, носитель «уездной, коренастой, нерастраченной силы», 7 ноября 1929 года на улицах праздничной Москвы вспоминает:

Семь лет назад (...) шел утром вот по этому самому Каменному мосту. Перед ним, вся в солнце, поднималась впервые увиденная Москва, которую еще нужно было *завоевать*. И в то утро верилось, что завоюет, что непременно добьется своего, потому что и Соустин был участником добычи, он участвовал своим телом, жизнью. В то утро все начиналось заново [Мальшкин 1965: 147].

Эмоции, испытываемые героем романа, достаточно сложны: это враждебность, соединенная с завистью к благам столичной цивилизации; комплекс неполноценности, помноженный на комплекс превосходства (в жизненной силе, энергии, агрессии), — чувства нового варвара, завоевывающего Третий Рим.

Уже в первой половине 1920-х гг. Москва начинает превращаться в подлинный Центр советской страны. В очерке «Бенефис лорда Керзона» (1923) недавний провинциал Михаил Булгаков восторженно признается в любви к столице: «Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить» [Булгаков 1989—1990, 2: 295].

Москва в эти годы уже способна жестко диктовать стране свои законы. Герой упомянутого выше романа Эренбурга умело использует столичный престиж, чтобы осуществить сомнительную аферу в Одессе:

Объяснение легкости одержанной победы следует искать не только в природной наивности бедного замзава, но и в том престиже Москвы, который делает нравственно обязательным для всего нашего обширнейшего Союза даже суждение о пьесе Бернарда Шоу, высказанное театральным рецензентом столичной газеты [Эренбург 1962—1967, 2: 181].

Покоренная провинциалами столица тем не менее вскоре лишается чего-то весьма существенного. Метаморфозу, которую переживает идея столичности на рубеже 1920—1930-х гг., хорошо почувствовал Юрий Олеша. «Коммунистическая академия в Москве — это верно. Высший Совет Народного Хозяйства в Москве (...). Так. Москва — центр? Да? Москва — центр» [Олеша 1999: 43], — пишет автор «Зависти» в своем дневнике, называя основные аспекты власти: идеологический и экономический. Однако Москва уже не центр культуры. Из двух обычных функций столицы — служить средоточием власти и средоточием культурной жизни — за советской Москвой закрепляется только первая:

Столичность — это мода, вкус, приличие, тонкость, примеры, образцы, авторитетность, — т. е. концентрация всего того, что предписывает всей стране образ жизни и мыслей. {...} Мы все говорим: Москва, Москва, столица, столица, а ведь понятие столицы уничтожилось. Где главный город нового мира? Намечена стройка новых городов. А может быть, лучшие умы сосредоточатся там, где будет главное место по добыче руды?! [Олеша 1999: 44].

Подмена авторитетности дореволюционного Петербурга авторитетностью советской Москвы не прошла для страны даром. Олеша прав: на рубеже 1920—1930-х гг. в СССР слово «столица» получило новое смысловое наполнение.

Начиная с 1929 г. — года Великого перелома — страна стремительно движется к тоталитаризму. Общеизвестно, что тоталитарная модель равносильна сверхцентрализации; роль столицы здесь резко возрастает.

Выделенность Москвы, представление о Москве как центре Космоса, своеобразной идеальной модели Космоса, начались в ноябре 1933 г. транспарантом, висевшим тогда поперек улицы Горького: «Превратим Москву в лучший город мира по архитектуре и благоустройству», — достигли апофеоза в 1947 году, во время празднования 800-летия Москвы, когда Сталин в своей речи назвал Москву «образцом для всех столиц мира» [Паперный 1996: 109. — Курсив автора].

К середине 1930-х гг., как может показаться, равновесие между столицей и провинцией оказывается необратимо нарушено. Характеризуя атмосферу этой эпохи, Е. Добренко вводит понятие «Москва-центричность». «Страна как будто прикована к Москве», — замечает ученый [Добренко 2000: 132]. Еще острее ставит вопрос М. Рыклин: «Только века жесткого централизма могли вызвать к жизни город, как бы всосавший в себя всю страну» [Рыклин 2002: 141].

Однако при более пристальном взгляде становится очевидно, что реальные процессы были куда противоречивее. На деле «Москва-центризм» в СССР сочетался со своего рода «провинция-центризмом». В предвоенное десятилетие в стране сосуществуют два вектора движения: чеховскому «в Москву, в Москву, в Москву!» противостоит грибоедовское «вон из Москвы!». Иллюстрацией первой тенденции может служить процитированная В. Паперным реплика датчанина Гаральда Хальса, которую тот произнес на I съезде советских архитекторов (1937 г.): «Я слышал {...}, что у вас есть здесь поговорка о Москве — в Советском Союзе три класса населения: 1) живущие в Москве; 2) на пути в Москву и 3) надеющиеся попасть в Москву» [Папер-

ный 1996: 83]. Складывается ощущение, что страна существует лишь в отношении к столице. С другой стороны, Москва как бы расширяет свои пределы до границ всей советской державы. Осуществляя власть над периферией, столица вынуждена «транслировать» самое себя повсеместно: она активно рассылает во все концы своих эмиссаров, призванных «прививать» атмосферу советской Москвы в самых глухих уголках огромной страны. Об этом, в частности, пишет Юрий Олеша в цитированном фрагменте дневника.

Высказанное Олешей предположение, что центром нового мира станет «главное место по добыче руды», отчетливо корреспондирует с одним из важнейших мифов сталинской эпохи — мифом о переплавке/перековке человеческого материала, ставшим своеобразным алгоритмом инициации советского человека. Подчеркнем, что согласно литературе 1920—1940-х гг. москвич и провинциал проходят инициацию по-разному.

Окончательное перерождение жителя российской глубинки в «нового человека» может произойти только в Москве. Перевоспитание бывших малолетних правонарушителей и беспризорных, о котором рассказывает повесть А. С. Макаренко «Марш тридцатого года» (1932), венчается поездкой в столицу: «Ах, хорошее было дело — наш московский поход! Из Москвы мы приехали новыми, иными — более сильными, уверенными, еще больше чувствуя связь со всем пролетариатом нашего Союза» [Макаренко 1987, 1: 125]. Преображение неофита происходит в ситуации соприкосновения с революционными святынями. Посещение ленинского мавзолея — для советского человека акт религиозный. Героиня пьесы А. Афиногенова «Далекое» (1936) пятнадцатилетняя комсомолка Женя в ответ на приглашение приехать в Москву говорит: «Обязательно! Мне — главное, чтоб было где переночевать. А днем я по улицам шляться буду, все осмотрю до капельки! И первым делом — в Мавзолей, на Красную площадь, в очередь. Семь раз подряд обойду. Такая моя мечта: семь раз подряд» [Афиногенов 1977, 1: 265—266]. Женин план паломничества к Мавзолею удивительно похож на ритуал исламского хаджа: в Мекке мусульманин совершает семикратный обход главной святыни — «черного камня» (Каабы).

В отличие от провинциала москвич, как правило, осуществляет инициацию в экстремальных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока или Крайнего Севера. В советской культуре эти локусы служат постоянными индексами периферии. «Страной чудес и сказочных превращений» названа Арктика в романе В. Каверина «Два капитана» [Каверин 1980—1983, 3: 419]. Лишь на периферии, окунувшись в реальную жизнь, столичный житель имеет шанс стать «настоящим человеком».

Литературе соцреализма, постоянно подвергающей героя «проверке на прочность» в провинциальной среде, вторит и кино. По наблюдению Е. Добренко, кинематограф 1930-х гг.

создает определенные «универсумы испытания» — идеальный топос для героя, одерживающего победу над врагами («Тринадцать» М. Ромма, 1937; «Джюльбарс» В. Шнейдерова, 1936) и стихией («Семеро смелых» С. Герасимова, 1936). В таком универсуме умирает старое («Аэроград» А. Довженко, 1935), рождается новое («Комсомольск» С. Герасимова, 1938) и обретается счастье («Искатели счастья» В. Корш-Саблина, 1936). Именно сюда, на периферию стремится каждый «настоящий человек» («Девушка с характером» К. Юдина, 1939). Но это еще и пространство, синтезирующее «героическую романтику» и «суровый реализм», — идеальное стилевое пространство соцреализма [Добренко 1996: 99].

Затертый до последней степени сюжет о москвичах, отправляющихся на великие стройки первых пятилеток, вскоре стал в советской литературе объектом пародии. С большой долей иронии мотив идейной «переплавки» испорченных обитателей столицы преподносится в романе Вс. Иванова «У» (1932). Леон Черпанов, вербуемый в Москве рабочих для уральской стройки, на вопрос: «Почему же за дрянью в Москву ездить?» — отвечает:

Дрянь дряни рознь (...). Есть дрянь неученая, неграмотная, неловкая, стихийная, так сказать, дрянь. Такой дряни, безусловно, везде много. Но есть дрянь не так, чтоб уж очень дрянь, а полудрянец, который даже если слегка обработать, то он в деле окажется очень и очень полезным. Вот такой ученой, грамотной дряни, зря пропадающей, много, думается мне, в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее хватаем — и в домну!.. [Иванов 1988: 52].

Другой герой романа «У», доктор Андрейшин, прямо указывает на вторичнолитературный характер миссии Черпанова: «Представляю, как вы смеетесь над современными писателями, которые каждого провинившегося героя отсылают для отрезвления в провинцию, тогда как только провинция, утверждаете вы, дает полную сумму счастья» [Там же: 31].

В Москве легко сделать карьеру, устроить свою личную судьбу, но любой успех будет иллюзорным без приобщения к действительной борьбе за переустройство мира, разворачивающейся в провинциальной глуши. Так, Саня Григорьев, положительный персонаж «Двух капитанов» Каверина, — полярный летчик, герой «советского фронта», а его главный антагонист Николай Антоныч — человек, сделавший

карьеру ученого-полярника, не покидая Москвы. Естественно, научная карьера последнего призрачна. Без защиты диссертации он удостоивается степени доктора географических наук. С точки зрения Григорьева и всей эпохи, Николай Антоныч — «лжеученый»: «он не является ученым-полярником, а представляет собою тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции “Св. Марии”» [Каверин 1980—1983, 3: 623—624].

В тоталитарной географии столица и периферия, будучи предельно разделены и противопоставлены, стремятся в то же время стать изоморфными друг другу. «Страна как будто сплюснулась: миллионы километров потеряли объемность, — пишет Е. Добренко. — Вся Страна превращается в Периферию себя самой, но эта Периферия, в свою очередь, оказывается Границей. Внутреннего пространства нет. Периферия — это сама Граница» [Добренко 1996: 101]. В советском культурном сознании география, конечно, относится к области мифологизированных представлений. Пространство здесь мыслится не континуальным, а дискретным. В известном смысле СССР есть только Москва (позиционируемая не просто как цитадель завоеваний социализма, но и как квинтэссенция «своего», «родного» для всякого советского человека) и граница (где неизбежна встреча с «иным», а стало быть, испытание этой встречей). При этом, в динамическом аспекте, как столица постоянно пытается стать фронтиром (отъезд москвичей в провинцию, поиск затаившихся в столице «врагов» и пр.), так и граница стремится превратиться в Москву.

В сахалинской глуши, в безызвестном гиляцком колхозе, Сергей Голицын, герой романа В. Кетлинской «Мужество» (1938), встречает бывшего москвича, ныне — энтузиаста социалистического преобразования страны. «Поначалу приходилось все на свете делать: солить, и пахать, и картошку сажать, и грамоте учить, и коров доить, и в бане отмывать вековую грязь, и младенцев принимать. Зато погляди, чего мы добились», — аттестует свою работу новоявленный первопроходец-цивилизатор. В дальнейшем, однако, дистанция между столицей и Сахалином исчезает: Москва, как выясняется, и располагается там, где находится форпост борьбы за социализм:

— Вы уже шесть лет здесь? [— спрашивает Сергей]

— Шесть.

— И вам не скучно? Не тянет в Москву?

Кудрявый вздохнул. Но глаза его были ясны, без грусти.

— Ну чудак человек! Кого же в Москву не тянет? А только для меня и здесь Москва [Кетлинская 1978: 359].